

**РАБОТЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ МНЕНИЕМ ЖЮРИ
конкурса 2024**

*Вероника Юрьевна Воронина
(Московская область)*

**КРАЙ ЗЕМЛИ, ГДЕ ГУСИ
ГОВОРЯТ С УШЕДШИМИ**

Третий день неясное ощущение тяготило и беспокоило. Словно неладное уже случилось, но еще не узнано. А потом мне приснился дед-помор. Я наконец-то приехала к нему в гости в деревню под Архангельском, в первый раз со смерти бабушки. Дед обнял меня, щекоча бородой, и я почувствовала привычный запах моря и табака.

На его карбасе мы долго плыли сквозь туман. Большая лодка покачивалась под ногами. У руля сидел незнакомый молчаливый старик. В вязаной рубаше, портах и бахилах с длинными голенищами он выглядел выходцем из далекого прошлого.

— Товарищ мой, вож корабельный, — представил его дед. — По-вашему — лоцман.

Я поздоровалась.

— И ты путем-дорогой здрава будь, — ответил он.

Туманная дымка на море становилась гуще. Мелкие капли мороси оседали на одежде. Убаюкивающе плескалась вода. В вышине кричали гуси.

— Не в Гусину ли Землю подались? — спросил дед.

— Не иначе, — кивнул вож.

— Знаю, — оживилась я. — Это полуостров в Архангельской области.

Дед фыркнул.

— Много ты понимаешь, дитя! Та Гусиная земля — тутошняя. А эта — тамошняя.

— Что за «тамошняя»?

— А вот что! — Дед продолжил, как песню запел. — Поморам Студёно море испокон веку кормилец и поилец, начало и конец. Неогляден простор морской. Есть дальний северный край, что зовется Гусиной Землей — туда уходят души хоробрых и добрых людей. Туда прилетают гуси, чтобы говорить с ушедшими. И доставлять о них весточки живым.

— То есть это поморский рай такой, а гуси — ангельская почта?

— Дуреха ты! — беззлобно сказал дед.

— Как думаешь, баба Нина там сейчас?

— Там, — уверенно и спокойно ответил дед. — Где еще ей быть, родимой?

Мы все плыли и плыли. Сложно было представить, как старики ориентировались в таком тумане. Будто услышав мои мысли, дед проговорил:

— Хмаря такая, точно Варлаам жену везет.

— Что?

— Присловье такое, дитя, когда густой туман сходит.

— И куда Варлаам везет жену?

— Попотчую тебя былиной-стариной. То наш — стал быть, и твой — поморский святой, покровитель мореходов. Вот послушай-ко, что раньше люди сказывали...

Родился отец Варлаам в Керети, на Лопском берегу, служил настоятелем в Коле. Жил там в мире и любви со своей хозяйшкой, был добрым пастырем прихожанам. Как-то изгнал беса с Абрам-мыса. Да бес тот, уходя, проклял его. Пришла беда. Сказывают, будто хозяйка Варлаама бесноваться стала. Настоятель пытался изгнать нечистого, да и убил ее нечаянно.

Дед помолчал.

— И так сокрушался Варлаам сим деянием, что сам себя наказал непомерно: плавать по морю с гробом убиенной, доколе тело не истлеет, моля Бога об отпущении греха. — дед замолчал, раскуривая трубку. — Быстро срядился Варлаам и отворил паруса. Путь его проходил от Керети до Колы и обратно. Так сокрушалось сердце Варлаама, что путь несчастного всегда лежал против обуревания, через непогоду. Посему и присловье бытует: «Пошел, как Варлаам против ветра». Много лет он скитался, покуда не искупил грех и не вымолил прощения. Кой-кто сказывает: и доньне карбас тот плавает. А ветра и туманы будто стали подвластны Варлааму, — проговорил дед

со значением. — Отсюда давношное поверье: коль сгущается марево, то Варламьева лодья подходит.

Он продолжил совсем тихо, после долгой паузы.

— В моем детстве старики баяли: Варлаам пособляет дорогу найти и живым, и тем, кого море взяло. Одним — домой, другим — на тот свет.

Поблизости снова прокричали гуси. Старый помор кивнул в ту сторону.

— Знамо, в Гусиную Землю. Деды так сказывали.

— Ты в это веришь? — спросила я.

— Нешто не верить! — ответил он. — Наше море-то Студёное уж больно норовисто да переменчиво. Тут иначе не скажешь: кто в море не плавал — Богу не молился.

Мы плыли еще какое-то время, когда белесое марево стало постепенно рассеиваться. Сквозь прорехи уже открывалось небо. Вож сказал:

— Уже близко.

Дед вдруг заторопился.

— На-ко, смотри-ко, дитя, что у меня тебе припасено.

И осторожно вынул из-за пазухи сверток.

Я развернула его и залюбовалась деревянной поморской птицей, которую подвешивают под потолком на счастье. Длинной шеей и изящно выточенным корпусом фигурка походила на звонкую да ладную летучую ладью с ажурными крыльями-парусами.

— Для тебя сделал.

Как я любила этих птиц в детстве! Казалось, подбрось — и взлетят, тре-

пеща крыльями. Но в руки их не давали — слишком хрупкие. Позволялось лишь смотреть, как они кружились под потолком от легчайшего ветерка.

— Спасибо, дед!

— Здоровья тебе на всех ветрах!

Он обнял меня, снова уколол щеку бородой.

— Ты что, прощаешься?

Дед не ответил. Туман продолжал расходиться. Неясно проявлялся берег.

— Где это мы?

На показавшемся берегу сквозь белые клочья проступала фигура пожилой женщины.

— Ой, неужто это...?

— Негоже тебе туда смотреть! — прикрикнул вож. — Отвернись! — Я отвернулась без возражений.

— Теперь пойду, — вымолвил дед и шагнул через борт на смутно различимый причал. Вож тотчас развернул карбас прочь от берега...

Под утро меня разбудили непривычные для города звуки — крики пролетающих диких гусей. Они звучали как прощание и благословение. Тревожное ожидание беды растворилось.

Я лежала, не в силах освободиться от остатков сна. Лишь долгую минуту спустя до сознания дошло: у меня никогда не было деда-помора!



*Вета Михайловна
Евстафьева
(Башкортостан)*

НАТЮРМОРТ

Из вазы со сдавленным горлом вытягивались кочетки — головы ирисов. Они напоминали загнанных лиловомордых лошадей. Обремененные горной ездой, они силились выплюнуть свои вспотевшие пыльники. Лепестки были несколько опущены — так парнокопытные прижимают уши перед тем, как лягнуть непонятое их душой существо. По изголовью вазы стекали тяжелые капли — соленый лошадиный пот. Вы когда-нибудь слышали о грызунах, слизывающих пот со сбившихся вихров шерсти? Единственным подобием минеральных хищников на столе были виноградные гроздья. Выставляя напоказ сытую полукруглую тень на своем чреве, мутные плоды притягивали к себе всякий источник влаги. Вероятно, чтобы смыть с себя тинистость, недостойную пережившего ледниковый период плода. Похоже обнажают свои щиколотки горцы, чтобы наравне со своими рысиками чувствовать мокрую траву. Им тоже нужно освободить свое тело от бремени ткани. Человеку в горах незачем прятать себя от касаний земли. Серебряный кувшин, уравнивающий экзотическую миниатюру с другой стороны, был недвижим. Извиваясь в нескольких местах, будто поперхнувшийся бузой кавказец, он молчал: приступы

кашля не могли одолеть его трехсот-летнюю плоть. Эта поза поражала выдержкой: серебро было научено искусству самообладания. Что нельзя было сказать о свече в центре: смущенная проявлениями чужеземных брезгливости, алчности и апатии, она беспримерно дрожала. Ее кротость не могла поднять глаз на кавказский пыл: то было слишком ярко, буйственно и налито. Она горячо плакала, лишенная и платка, и утешающего подола. Совсем другое было в разбросанных цитрусовых дольках: испуская пышный красный запах, сверкающие плоды выглядывали из полотен кожур. В них были красота и покорность. Как когда-то Терек подносил свои последние дары Каспию, фруктовые нимфы мечтали утолить чью-то жажду, стать частью чего-то великого. Ими могли быть княжеские дочери в белых простынях, говорящие о своей босоногой смелости и податливости кинжала женской коже. Заменяя отсутствие приближающегося балыка, на столе сверкали склоны сырных треугольников. Мигая тоненькими зубьями, они душисто таяли, обнажая в своих округлых чертогах крохотные сакли. Глазу не был различим рисунок кунацких с войлочными коврами: тишина воинственно пресекала оружейный звон.

Взойти на гору сегодня, в жаркое, маревое утро, было бы подвигом. Как сотня поцелуев, наверху ветряные порывы встретили бы напряженный лоб. Чистый, рассветленный цветной темперой воздух окутал бы тело. Вот

зелень и орехи — коротконогие цветы с альпийских лугов. Рододендроны... язык колокольню ударяется несколько раз о небо, прежде чем объять это имя. Соцветие сжатого кулака. Разве могла кавказская фауна не быть гордой и бестрепетной? Видел ли глаз хоть раз зарождение луны в душистой лунке горного цветка? Когда она, едва высунувшись из-под земли, начала раскачиваться в его колыбели, набирая вместе с ночной прохладой светимость. Это все сокрыто от сердца и не может быть вымолено человеческим языком. Здесь нужен язык птичий — таинственный, возникающий быстрее звука, соединенный с природой. Если бы хоть один человек мог сойтись с горой, даже с самой коренастой, как с сестрой, он был бы самым счастливым на земле. Кровь бы его стала туманной росой, плоть — могучей породой, а какую крепость обрели бы мысли... О чем думает вековой склон? Должно быть, вспоминает первую песню у костра, которую исполнил молодой разбойник. О лодочке в жемчуге да о слезах на платье молодой красавицы... Или тот склон ждет возвращения звезды, свет которой был мягче овечьей груди. Чалпан-звезда всегда являла свое мудрое, ласково-спокойное лицо в минуты скорби. Не может он выпустить из памяти и танцы человеческих теней, чудно переходящие с его края на поверхность неба. Порою атаман так высоко подпрыгивал, что небо с землей менялись перед ним местами...

«О чем вы думаете?» — заговорила вдруг то ли пустая солонка, то ли хозяйка.

Юрий Михайлович потер глаза рукой, почувствовав судорогу во влажных уголках. Все растворилось, обнаружив свою нищую беспредметность. Остался лишь купаж из крошек и застывшего воска. Скоро в зрачках Юрия по кусочкам собралась в мозаику молодая девушка. Из-под серенькой ее косынки выпадали спутанные пряди, платье струилось по худосочным ногам, не находя возможности сложиться в складки. Пара глаз напоминала потертые пуговицы. Она и вправду была мозаична: черты лица почти не двигались, каждая оставаясь в своем очерченном пространстве. Переносица и подбородок были заметно светлы, будто на камень сошла серебристая рябая пыль.

Как же можно было ей, этой маленькой хозяйке, рассказать об увиденном? Услышит ли она в этих стенах волчеподобный аллюр, увидит ли тень сомнения на лице пересекающего горную реку, почувствует ли кислый запах сабли? Представляет ли она величину Каспийского моря, называет ли она его этим коротким любовным словом — Каспий? Видит ли она внутри себя вечный молебный жест Эльбруса — два недвижимо поднятых пальца? Может ли разделить боль невесты со всем этим?

«Выпьете чаю? Только у нас ни воды, ни травы».

Тоска... Юрий Михайлович недоуменно заглянул в бесхитростное

лицо и нездешний взгляд. Кажется, она сейчас пребывала в другом месте. Там, где в холщовых пакетах сопит засушенная трава, а на доске толкутся собранные ягоды. Подобрать бы только ключи к ее натюрморту... Что еще она видела перед собой? В каком русле сна покоилась ее душа? Юрий Михайлович так и застыл, придерживая вереницу вопросов на уголке пересохшей губы.

Одиночество показалось ему не столько мукой, сколько странным даром. Простой стол стал для них двоих картой сердца. Сознание поставило на него свою посуду: тарелки наваждения и кувшины патогенного чая. Но как лукав был их блеск, как заразителен узор каймы... Пустота возвращала свой миф, невинно окрещая свои углы несуществующими именами. Как больно и страшно было оставлять это, как сжималось сердце от умозрительного голода...

Когда их взгляды пересеклись, каждый из них решил для себя: от стола нужно сегодня же избавиться.



*Владислав Станиславович
Звягин (Липецк)*

ОНА БЫЛА ПРОСТО КОШКОЙ...

Ну, конечно, не «просто». Каждая кошка — это маленькая Вселенная, притаившаяся в радужке кошачьих глаз, это мир, это счастье для других, это чудо чудное и почти пуп земли и попробуй сказать, что это не так! И она действительно была не просто кошкой, а кошка с васильковыми глазами. Жила Кошка на чердаке старенького двухэтажного дома. Чердак был заставлен старыми, никому ненужными вещами. Под самым чердачным окошком, затянутым паутиной, стоял выдававший виды диван и два таких же стареньких кресла. Утром первые лучи солнца, проникая сквозь пыльное стекло, освещали полинялый диванчик, и кошка, щурясь, подставляла мордочку под теплые лучи. Потом потягивалась и лапкой открывала окошко. На чердак сразу же врвался с новостями ветерок и начинал их быстро нашептывать полинялым занавескам.

Пролетая над кипами старых книг и снятых со стены картин, сдувал с них пыль, качал паутину и принимался за кем-то забытую на полу люстру. Люстра была большая, вся в завитушках и висюльках. Висюльки раскачивались, ударялись друг о друга, издавая нежные, переливчатые звуки. Кошка и сама иногда проводила коготками по шарикам, цветочкам и цепочкам, получая удовольствие от странной музыки.

Так и жила кошка в своем маленьком мирке, каждый день спускаясь по старой лестнице на балкон второго этажа, где жила старая женщина, пила молоко из маленького блюдца, гордо благодарила коротким — «Мурк!», впрочем, не разрешая себя погладить...

Но вот комната второго этажа неожиданно опустела, и больше кошке никто не наливал молока. А затем там поселился кто-то совсем другой. Он не наливал молока, он часто о чем-то говорил вслух, и еще у него так громко играла музыка, что кошка почти уже решалась уйти с чердака. Но однажды утром ветерок принес помимо новостей новый запах. Запах был странным, вкусным, манящим. Так и хотелось прикоснуться кончиком язычка к этому запаху.

— Я просто посмотрю, — сказала себе кошка, — ведь ничего не случится, если я просто спущусь на балкон и загляну в комнату, — подумала она и бесшумно подобралась к двери балкона. Заглянула в комнату. За столом в кресле сидел человек и что-то писал. Он то замирал на мгновение, то, закрывая глаза, откидывался на спинку кресла. Но главное — он пил из большой голубой кружки, и там в этой кружке было то, что так странно, но заманчиво пахло. У Кошки закружилась голова, тихо ступая по скрипучему полу, она вошла в комнату...

— Кошка?! — человек улыбнулся. — Ну, привет Кошка!

— Мяу! — ответила кошка и села напротив человека, облизывая мордочку розовым язычком.

— О, извини! — человек засмеялся, — я знаю, зачем ты пришла! Перед кошкой появилось маленькой блюдечко, которое было наполнено из голубой чашки.

— Пей! Это какао со сливками!

«...Ка-ка-о! Странное название, — Кошка опустила мордочку к блюдцу. — Но как вкусно». Блюдце быстро опустело, но почему-то не хотелось уходить, и Кошка растянулась на теплом полу, сквозь прищур поглядывая на Человека.

— Иди ко мне, Кошка, — позвал он.

Но Кошка была гордой кошкой, и тогда человек подошел сам, протянул руку. Кошка сжалась, выпустила когти: вот сейчас случится то, что она никому не разрешала, и тогда она ударит его лапой. Он должен знать, какая она Кошка!.. Большая ладонь почти накрыла ее, теплой волной прошла по спине, нежно погладила шею, перебирая шерстку, и вдруг коснулась ушей.

— Муу-рр-ррр, — Кошка не ожидала от себя такого. — Мррррр, мррр-рррр. Казалось, что тело само издает этот звук.

«Но я же Кошка, надо убежать», — но сил хватило только на очередной «муу-ррр».

— Муу-урка, — нараспев сказал человек, — ты будешь моя Му-урка! О, а какие у тебя голубые глаза!

— Му-урка! Ну, пусть будет Му-урка! — кошка прикрыла глаза. — Это только из-за какао, я просто люблю сладкое! — врала она себе.

Разве важно, что связывает двух существ этом мире, и так ли важно, как долго продлится эта связь?!

Кошка часто приходила к человеку, пила какао со сливками и мурлыкая слушала, как он читал истории, написанные им. Жизнь тихонько катилась от рассвета до заката. Часто случалось так, что исчезал Человек или пропадала Кошка на какое-то время, но они всегда возвращались. Надо всегда возвращаться, если тебя ждут.

— Му-урка! Ну где ты была, Му-урка? — человек обеспокоенно заглянул в голубые глаза и вдруг взял ее на руки. — Я уезжаю, Му-урка!.. А дом скоро снесут.

А знаешь, поехали со мной. Почти в каждом доме есть чердаки и подвалы, и там часто живут кошки. Ты так же будешь приходить ко мне, и я буду рассказывать тебе свои истории.

«Подвал...» — Кошка печально про себя улыбнулась, — неужели он мог подумать, что она подвальная кошка? Неужели он так и не понял, что она особенная Кошка?

Глупый, глупый человек! Внутри стало как-то совсем пусто. Ночью она пришла к нему в последний раз — попрощаться. Человек спал. Рано утром она ушла. А Человек был так занят весь день, что не вспомнил о кошке. Но уже к вечеру он все-таки ее позвал:

— Му-урка! Муренок... скажи мне до свидания! — но на чердаке было тихо. Человек уехал. Навсегда...

Через месяц, проезжая на своей машине, Человек увидел, что дом

снесли: «Кто-то другой наливает тебе какао! Кошка она всегда кошка», — подумал он.

Тем последним, прощальным утром Кошка вернулась к себе на чердак. Она простила Человека и простилась с тем, что было. Странно, но солнце уже не проникало через чердачное окошко, чтобы обогреть Кошку, и ветерок перестал рассказывать новости, а люстра перестала петь. Чердак стал таким холодным, неуютным. Кошка вздохнула, свернулась калачиком на потрепанном старом диване и замерла...

Когда сносят дом, никто не проверяет чердак...



Лев Товиевич Рубинштейн (Санкт-Петербург)

МУЗА

Квартирная хозяйка, у которой я поселился в Крыму во время летних каникул, представила меня девушке, занимавшей соседнюю комнату. Носительница самого обыкновенного имени Таня была одного со мной возраста; так же как и я, она приехала в Крым без родителей под присмотром знакомых, поселившихся поблизости. Представляя нас друг другу, хозяйка квартиры была несколько смущена: дело было поздно вечером, а она должна была попросить нас ненадолго отправиться погулять. Намерение утаить своих жильцов от проверки со стороны поселкового совета казалось ей не вполне приличным, и она как будто бы оправдывалась тем, что сводила вместе двух молодых людей, что, в свою очередь, тоже было не вполне приличным. Мы с моей новой знакомой не имели ничего против совместной прогулки. Мой первый вечер в Крыму был самым настоящим Крымским вечером. В прибрежном парке пахло хвоей, морем и какими-то цветущими кустарниками, по обеим сторонам аллеи возвышались силуэты кипарисов, сквозь которые выглядывала огромная луна. Цикады звучали со всех сторон. Мы сидели на скамейке и рассказывали о себе, как вдруг нас ярко осветило с моря мощным лучом прожектора. Через мгновение мы снова оказались

в темноте, но моя спутница, от неожиданности прижавшаяся ко мне, так и оставалась в том же положении, а я не видел никакой необходимости это положение разрушать. Нам было весело, даже радостно от этого происшествия — и, находясь в такой близости и в таком замечательном окружении, мы просто должны были, в конце концов, поцеловаться.

Таня приехала из города, удаленного от моего города на многие сотни километров. Продолжение нашего знакомства по окончании каникул было маловероятным, и нам не следовало придавать этому знакомству слишком большое значение. Мы оба это понимали, и в отпущенные нам дни, не сговариваясь, изображали друг перед другом самых легкомысленных на свете молодых людей.

Таня уехала первой. Я думал о том, что никогда больше ее не увижу. Состояние мое было незнакомым и непонятным. Я как будто бы открыл для себя какую-то новую книгу или впервые встретился с чем-то таким, о чем я только слышал или читал, и мне нравилось думать, что происходящее со мной есть не что иное, как взросление.

До возвращения домой оставалось еще несколько дней. Нигде не находя себе места, я бродил по поселку, вечером сидел у себя в комнате, выходил на балкон, смотрел на звезды и вдруг почувствовал необыкновенный душевный подъем. Казалось, вот-вот должно случиться что-то очень важное: и в самом деле, меня словно обда-

ло жаром, и в голове зазвучали какие-то слова, выстраивавшиеся в ритме, а может быть, ритм, на который стали накладываться слова. Я схватил ручку и бумагу и стал записывать, а потом долго не мог оторваться от этих строчек, которые неведомая сила мне продиктовала. Радость захватила все мое существо: у меня открылся талант!

Стихотворение, которое я написал, было обращено к Тане и выражало мои переживания по поводу ее отъезда, но были в этом стихотворении и какие-то другие мои переживания, с ней не связанные. По возвращении из Крыма я написал еще одно стихотворение, потом еще одно — в этих стихах Таня уже не присутствовала. Неожиданно она дала о себе знать: сообщила, что собирается приехать в наш город на несколько дней погостить у родственников. Встреча с ней меня разочаровала: в обычной городской обстановке она показалась мне совсем не такой привлекательной — и внешне, и, особенно, внутренне. Некоторые ее высказывания были просто вульгарными. Я представил себе, что когда-нибудь стану большим поэтом и кому-то будет очень важно узнать, как возникли у меня первые стихи. Узнают и имя моей музыки. Достойно ли будет выглядеть Таня в этой роли?

Еще несколько месяцев мы презванивались, потом перестали. Я продолжал писать стихи и написал еще довольно много, но настоящего поэта из меня не получилось.

*Елизавета Борисовна
Стрельникова
(Санкт-Петербург)*

РЫБА

Из цикла «ПОСЛЕДНИЕ РАССКАЗЫ
БОБА СТРЕЛЬНИКОВА»

В сентябре 1941 года мы жили на Старо-Невском, в доме 158, угол Перекупного, куда отец переехал еще до революции. Квартира наша была на третьем этаже, вход со двора. Парадную заколотили сразу после революции и с тех пор ходили по «черной» лестнице, через кухню. В наш дом попала первая бомба, сброшенная на город. После войны выяснилось много других адресов, в которые попала первая бомба, но я знаю, что первая — в наш попала. Пролетела, проломив крышу, через все 4 этажа и взорвалась в подвале. Мы с мамой в это время были дома. Она готовила обед. Раздался воющий гул, все вокруг заходило ходуном и заволкло пылью и дымом. Я оставался в комнате. Открылась дверь и вижу — на пороге мама с кастрюлькой супа в руках: «Сыночек, горим!» Я вышел в кухню, распахнул дверь на лестницу — там был туман. Когда немного улеглось, я увидел, что лестница цела, зато два нижних этажа полностью отсутствуют. Наша квартира висела над пропастью. Я велел маме оставить суп, и мы спустились во двор.

Жить в квартире стало опасно, и мы перебрались на Петроградскую сторону, в квартиру эвакуировавшие-

гося тюзовского драматурга Бориса Яковлевича Зона, друга и соратника моего отца по Театру юных зрителей. Однако моя мама вскоре стала настаивать на возвращении в родной район. «Пропадем мы тут, никого вокруг не знаем. В тяжелые времена надо быть ближе к дому». Так мы оказались на улице Маяковского, в бывшей дворницкой, в доме, расположенном между Невским проспектом и Снегиревской клиникой, где моя мать до революции была сестрой милосердия. К дворницкой примыкал небольшой двор-колодец, весь заваленный каменным углем, которым мама растапливала огромную плиту, гревшую нас всю блокадную зиму. Она была женщиной удивительной и умела создавать тепло и уют в любых условиях. Однажды она принесла с рынка конскую шкуру и два дня варила ее. Получился замечательный студень.

Продукты в блокаду выдавали по карточкам, а карточки были прикреплены к магазинам. Отовариваться можно было только теми продуктами, которые завезли в данный магазин. При всей скудности количественной и ассортимент часто оказывался однообразным. Иногда один вид продукта заменялся другим. И люди шли на рынок меняться. Не от избытка и желания наживы, а по насущной необходимости.

Однажды нас отоварили крупой вместо хлеба. А хлеб нужен. Мама послала нас с сестрой Наташей, служившей в частях ПВО и приходившей

изредка к нам в гости, на Мальцевский рынок выменять крупу, которую она нам собирала из своего военного довольствия, на хлеб. Сестра моя была очень хорошенькая и вызывала у всех, равно как мужчин, так и женщин, симпатию. А я пошел с ней для поддержки, на всякий случай. Стоим на рынке, приглядываемся. Подходит к нам женщина, спрашивает: «Что меняете?» «Крупу на хлеб». «Хлеба нет, а вот, есть рыба. В самолете с большой земли везли. Там на нее спирт пролился, поэтому немного спиртом пахнет, а так свежая. Вот жабры какие розовые, смотрите». Мы с Наташей смотрим, да, розовые жабры. И рыба такая большая, свежая. Мы немного подумали и поменялись. Пришли домой, такие довольные. Разворачиваем наше приобретение. Мама только ахнула: «Господи, да это же экспонат. Она же формалином пропитана!» И вправду — сзади из хвоста проволока торчит. Что делать? И крупу отданную жалко невероятно. «Пошли обратно менять», — говорю Наташе, хотя и совестно.

Пришли на рынок. Наташа рыбью морду высунула из мешка и стоит, ждет покупателей. А я проходящим людям объясняю: «Самолетом везли... с большой земли... спирт пролился... вот жабры, смотрите, розовые... свежие». Подходят к нам двое — женщина с девочкой. Девочка увидела рыбью морду и начала: «Ой, мама, давай рыбку возьмем!» «Сколько хотите за рыбу?» — женщина спрашивает. Наташа меня в бок толкает.

Я наугад, чтоб заломить цену повыше, говорю «килограмм хлеба». «Ой, а у нас только 800 грамм, но вот сахаром можно добавить». Наташа меня еще сильнее в бок бьет и делает страшные глаза. Я уперся и говорю: «Никак нельзя, только хлебом». Девочка чуть не плачет. Женщина нам говорит: «Подождите, я здесь близко живу, сейчас домой сходим и принесем хлеба». Ну, мы говорим, так надменно, дескать, не знаем, идите, но ничего не обещаем. Женщина на нас рассердилась и ушла. А мы с Наташей переглядываемся и понимаем, что больше всего хочется нам с рынка поскорее убраться. Хотя и с формалиновой рыбой за пазухой. И вот мы уже к выходу подбираемся, как к нам подходит военный с девушкой, оба румяные, с погонами. «А что хотите за рыбу? У нас вот консервы из довольствия есть». Мы не торгуясь, согласились. Отдали рыбу и к выходу. А там по улице быстрее, дворами и — домой. «Ну, они все-таки военные, сытые», — сказала Наташа.

А месяца через полтора иду я по Херсонской улице, уже смеркается. Вдруг прямо перед моим носом что-то из окна летит и шмякается о мостовую. Смотрю и вижу — знакомый экспонат! Та самая рыбина, и жабры розовые. Правда, проволока еще больше торчит. Вот так встреча! Ну и пошел мимо. Прошел до угла и оглядываюсь, вижу — старушка пробирается по улице. Увидела рыбу, подхватила и — бежать.

*Наталья Викторовна
Ульянова (Астрахань)*

ЗАЯЦ

«Заяц!» — подумала я, копаясь в машине с пыльным ковром, который меня попросили отвезти на автофоруме. От пункта А до пункта Б. «Мама!» — подумал Юрий, бегая вокруг ковра в тонких желтых шортах, наступая кедами на ноги друзей, которые, как воробьи, слетелись к моей машине. Где-то на ходу, уже запыхавшись от чужих локтей, распахивая семечки по карманам, заяц успел мне рассказать, что он экстрасенс и футболист, а когда этот ковер был водружен в финишный угол, Юрий крепко вцепился в меня голубыми глазами из-под длиннющей челки.

Как-то позже я узнала, что Юрий еще задолго до нашего знакомства уже изменял мне пару раз. Он уже улыбался этими голубыми глазами грудастой медсестре с рыжими косами и очень умной тетеньке из Амвей. И пока я носилась с ковром и фотоаппаратом, уже на третьей встрече я решила Юрика взять с собой на автогонки, для чего нужно было оформить формальности в органах опеки на гостевой режим.

Оформилась я достаточно оперативно, хотя вечно работающая женщина в принципе не понимает это странное слово Талон.

Тогда, держа в поликлинике дрожащими руками стеклянные баночки известно чего, я еще не отдава-

ла себе отчета, что вот эта ворчливая старая лаборант в реальности дала мне талон в другое будущее.

Если бы я ей тогда сказала, что она почти вершит сейчас мою судьбу, наверняка баночка была бы отправлена в другую поликлинику. И она бы тогда была права. Если бы я знала, что меня ждет... Но пока я летала на крыльях.

Имея старшего родного сына, рожденного в муках, я даже не сомневалась в том, что этот щуплый белокрысый пацан родился не у меня. Радость от того, что я наконец-то его нашла, затмила любые сомнения. Мы рождались. В полном смысле этого слова.

Пяточка, носочек, игрушки, подушки и ночные крики «МАМА!». Эти ночи были самыми страшными. Ты молчал днем, но ночами я слушала твои сны и пыталась тебя разбудить. Потому что слушать твои сны, Заяц, было страшно, так же страшно, как и сидеть на коленях у твоей кровати, когда по всем каналам шла Олимпиада, а ты просто хотел маму, родную маму... Которой давно нет. И мы оба об этом знали...

Ты пищал, как котенок, попавший под трамвай, а я не могла тебе тогда помочь, ничем не могла помочь, понимаешь?

Мы же ее нашли, в день ее рождения. Ты, наверное, и правда экстрасенс, потому что я до сих пор не понимаю, как можно найти могилу без документов в радиусе 4 км. Мы ведь метались-то ровно 5 минут.

Мне тогда было очень жутко, честно. А ты голубыми глазами плакал и судорожно чистил кустарник над хрупким крестом. И говорил и с ней, и со мной: «Мам... Мам... Мам...» Тогда половину жизни мы с тобой поняли.

Ты до сих пор не умеешь говорить о своих чувствах, да и я этому тоже только учусь.

Помнишь, как мы на машине до Крыма изучали всю школьную программу на практике: география и ориентирование на местности, математика, биология, экономика, административное деление (следующая станция Воронеж!). Конечно, я к тебе иногда придиралась чересчур, как любая мать. Ведь за приемных и спроса больше. Пацан не может не баловаться в лифте, не пинать кирпичи новыми ботинками, не лезть на стройки.

Да, ты доставлял много хлопот, потому что стремился быть первым. Первым во всем! Во всех авантюрах вместе взятых. Мы были vip-клиентами во всех травмпунктах, где ты мне гордо рассказывал, что не боишься высоты, что прыгал со 2-го этажа, катался на вагонах, а в 5 лет ночевал на улице. Врачи рассматривали тело зайца и вздыхали: «Это ж на каких фронтах пацан получил столько шрамов?» Однажды на МРТ после той дурацкой ночи (ты знаешь какой) медики мне подтвердили диагноз — мозг есть! А ты смотрел на меня голубыми глазами и ждал одобрения: «Я же говорил!»

Заяц, ты тогда в свои 11 познал столько, сколько не может принять

ни одна нормальная мать. Сейчас с улыбкой уже вспоминаю, как ты в мороз бегал в шортах на тренировку, как я снимала твоих одноклассников с забора, как ты взламывал мой комп, да так умело, что учителя даже не верили... А 15 пар обуви за полтора года... Конечно, ты не только на стройке ее убивал, ты рос и догонял свой возраст в пять раз быстрее домашних детей, потому что в детдоме от боли ты замер на 5 лет. Но ты еще не научился жить, жить в свободной стране, слишком свободной для ребенка, которого лишили детства и элементарных азов самосохранения и воспитания. Я не смогла тебя защитить от свободы, Заяц. От свободы и от города, где от таких индивидуальных детей закрывают общеобразовательные классы, оберегают своих детей, где учителя любят только успешных. Где не сдают квартиру приемным семьям, где в школах запрещены кружки и нормальные уроки труда, где много соблазнов на игры и деньги, и при этом на весь город всего два реабилитационных центра, в которые даже платно не пробиться. Где приемным мамам приходится выживать, как на войне, и выбирать между ребенком и своими интересами. Прости, что в этой войне я выбрала работу. От этого выбора в моем солнечном сплетении образовалась дыра, глубокая черная дыра от отчаяния и усталости. Ты же помнишь, как я была полна энергии. Она уходила не только на тебя, а и на всех тех, кто посчитал нужным там черпнуть со словами:

«Ваш Юра...!!» И вышло так, что берешь чужого, а отдаешь своего. Заяц, это был мой самый сложный выбор, правда. Но я дала слово, что я тебя не брошу. И пусть мы видимся сейчас не так часто, ты все равно мой Заяц. А я твоя мама. И мы есть друг у друга, это самое главное. Все меня спрашивают, почему я взяла мальчика и уже взрослого, «Нашла бы девочку маленькую...»

Никого я не собиралась брать, я просто привезла ковер. Чтобы увидеть своего Юрку. Кому-то надо было, чтоб мы с тобой встретились.



*Наталья Игоревна
Утенкова (Ногинск)*

СТРАННАЯ ПРОСЬБА

Альберту Ивановичу казалось, что он все делает на автомате. Может быть, так и было. Многие события и моменты жизни были похожи друг на друга: выступления, лекции в университете, конкурсы, на которых он сидел в жюри, поездки, перелеты...

— Вы так красиво сыграли.

— Спасибо вам.

— Ваше творчество вдохновляет.

— Красивый костюм...

— Мы благодарны вам...

Однажды его пригласили на конкурс в музыкальную школу, в которой он учился в детстве. Как известный музыкант Альберт Иванович был почетным гостем на конкурсах совсем другого уровня, но в этот раз его попросил школьный товарищ, который был директором этой музыкальной школы. А конкурс был приурочен к ее юбилею. И можно было, конечно, отказаться, но ведь скажут, что зазнался...

Есть мнение, что юбилей — это пятидесятилетие, столетие и тысячелетие. Школе исполнялось шестьдесят лет. Ну не будешь же всем все объяснять...

Перед концертом к Альберту Ивановичу, как обычно, подходили люди. Кто-то просил автограф, кто-то хотел вместе сфотографироваться, кто-то благодарил, кто-то пытался что-то рассказать. Один хорошо одетый мужчина подошел к нему с не-

сколько смущенным видом, но начал говорить довольно уверенно:

— Здравствуйте, простите, пожалуйста. У меня к вам будет странная просьба... Мой сын, Стас... То есть... Станислав Петров, учится в этой школе. Он хочет связать свою жизнь... с музыкой, но я понимаю, что это бесперспективно и его ждет совсем другая профессия.

— Откуда вы знаете, что его ждет? — Альберт Иванович сам удивился своему вопросу и тому, что перебил этого странного незнакомца.

Тот лишь снисходительно улыбнулся в ответ и продолжил:

— Станислав неплохо играет, но я уговариваю его бросить занятия музыкой и посвятить все время точным наукам. Он боготворит вас. И сегодня, после своего выступления, он будет смотреть на вашу реакцию. Она для него важна. Прошу вас, не хлопайте ему вообще.

До этого момента Альберт Иванович думал, что слышал в своей жизни все. Это же надо...

— Напомните, как зовут вашего сына? — переспросил музыкант, пытаясь скрыть свои эмоции.

— Станислав Петров, — довольно повторил мужчина.

После концерта было застолье. Директор музыкальной школы спросил у своего друга:

— Альберт, ты хотя бы мне можешь объяснить, почему после провального выступления одного из учеников ты встал, хлопал и кричал «браво»?

— Пока не могу.

Через десять лет Альберта Ивановича снова пригласили на семидесятилетие в его родную музыкальную школу. В этот раз на празднике было два почетных гостя: Альберт Иванович и молодой известный исполнитель и композитор Станислав Петров.

— А теперь и объяснять не надо, — сказал директор школы, — но как? Как ты его разглядел тогда? Объясни, что ты такое услышал? Как ты все понял десять лет назад?

— Я тогда ничего не разглядел. Он действительно играл ужасно. Здесь нужно благодарить отца Станислава...



Юлия Ива (Юлия Хованская)
(Нижегородская область)

РУКИ

Теперь, когда я больше не пою, изредка поднимаясь из темных глубин небытия, я могу лишь вспоминать. Память всегда начинает выстраивать свою композицию с самого трогательного момента — того, когда появились детские руки. До этого были крепкие, но чуткие пальцы мастера, который с любовью изготовил меня, и мягкие ладони торговца, бережно передавшие меня новой хозяйке. Новые руки сначала показались мне слишком маленькими и слабыми, они вздрагивали, когда гладили гриф и трогали струны, и я не могла понять, зачем я им. Едва касаясь смычком, руки пробовали зарождающуюся между нами связь — ласково и бережно. И мне захотелось отозваться. Маленькие пальцы почувствовали это и наполнились силой. Мой голос взлетел, заполняя пространство. Руки играли — все увереннее, настойчивее, смелее. И я поняла: то, что я приняла за слабость, было робостью восторга от нашей встречи.

Детские руки забрали меня с собой, и с того дня мы почти всегда были вместе. Вместе учились звучать: строго или нежно, бархатно или звонко. Вместе учились чувствовать друг друга. Вскоре я уже понимала, когда маленькая хозяйка весела и радостна, а когда больна или огорчается. Иногда я чувствовала на корпусе горячие

капли, падающие с упругой детской щечки. В такие моменты и я расстраивалась.

Я помню, как девочка рассказывала мне про облака и звезды, воду и ветер, свет и тьму, надежду и счастье, чтобы я могла своим голосом рассказать о них другим людям. Она давала название моей музыке: соната, пьеса, каприз. В маленьких ручках заключалось столько тепла и любви, которыми они делились со мной, что день за днем я открывала им свои тайны. Руки становились все более пластичными и проворными. Все виртуознее раскрывали мое звучание и вели за собой. Мой голос, точно весенний ручей, набирая силу и глубину, превращался в стремительный полноводный поток, чтобы в конце обрушиться водопадом или раствориться мельчайшей каплей.

Потом что-то случилось. Я поняла это, потому что меня не касались несколько дней подряд. А когда девочка наконец вынула меня из футляра, ее руки дрожали. Они трогали меня все так же ласково, но осторожно, извлекая приглушенные, едва различимые звуки. Мне казалось, что руки плачут. И я шепотом плакала в ответ.

Однажды мой едва слышный голос оборвали. Руки крепко прижали меня, и я почувствовала бешеный стук маленького сердца и — отчаяние.

Меня куда-то долго несли — без футляра — неслыханное дело! Потянулись долгие серые дни. Руки все время были рядом — озябшие, худые,

как смычковая трость, — но больше не играли, только трогали струны. Маленькое сердце теперь билось слабо и неверно. А вокруг были страх и боль, зло и холод. Безжалостные голоса и истошные стоны. И смерть.

Лишь однажды я звучала снова — так, как никогда прежде. Ослабевшие руки неожиданно снова обрели силу — силу боли, невыразимого отчаяния и невысказанной любви. Мой голос взлетал до звезд и опускался в морские глубины, обволакивал невесомым коконом и проникал прямо в душу. И вдруг, в самом зените, меня оборвал тяжелый удар. Трость смычка сломалась. Руки вздрогнули и прижали меня еще крепче, но не заиграли снова. Они все еще были рядом, но с каждой минутой из них уходило тепло. А сердце молчало.

Тогда я впервые погрузилась во тьму небытия.

Меня вырвали из нее резко — крепко схватили за гриф и дернули чужие жесткие пальцы. Они излучали тот ужас, зло и обжигающий холод, что заполнили пространство. Я вскрикнула в этих руках и умерла.

Меня кому-то отдали. Другие ладони — мягкие и влажные, подарили мне бархатный футляр, стирали пыль, подтягивали струны и трогали новым смычком — прекрасным смычком, одним из лучших. Меня касалась холеная кожа, умелые сильные пальцы. Но я тосковала о ласковых детских ладошках, о тонких проворных пальчиках и не могла петь. Меня отнесли к мастеру, который очень старался

меня починить и настроить, но голос ко мне не вернулся...

Мелодия памяти всегда заканчивается минором, дрожащими печальными нотами. И мне все сильнее хочется окончательно погрузиться в темное небытие...

Снова пробуждают, трогают — бесцеремонно, но не грубо. Жесткие мозолистые ладони, пыльные, в копоты. Прижимают к шершавому шинельному сукну, трогают гриф и струны. Меня касается щетинистый подбородок с выпуклым шрамом. Неловкие загрубевшие пальцы что-то пытаются вспомнить. Робко ведут смычком по струнам. И мне вдруг хочется петь. Хочется отозваться этим надежным теплым рукам, чем-то неуловимо похожим на те, родные детские ладошки. Теплая капля падает на корпус. Я просыпаюсь и отвечаю — сначала осторожно и тихо, потом смелее, пытаюсь подняться голосом выше и выше.

И кажется, что откуда-то издалека ко мне доходит тепло детских рук.



*Елена Сергеевна Шен
(Анталия, Турция)*

ШАШЛЫК

Мы с дедом очень любили сидеть под вишнями в саду. Это было наше тайное место. Вишни шуршали кронами, а мы сидели молча, как мышки. Вишни были высокие, как корабельные сосны, а мы такие маленькие на нашей самодельной лавочке. И уже после, в своих воспоминаниях, я гадала, как же мои залезали на эту верхотуру, чтобы собрать пузатые пурпурные ягоды. Но маленькой в то время была я, мне было 4 года. Тогда все, что было выше двух метров, казалось мне огромным.

Тот июнь был невыносимо душным. В доме, где жили три семьи — бабушка с дедом, мои родители и я, моя тетя и ее дочь Юля, готовились к вечерним посиделкам. Папа с дедом еще прошлым вечером замочили мясо в уксусе и луке, а сейчас на улице занимались мангалом. Мама и бабушка на кухне делали салаты и открывали прошлогодние закатки — банки с солеными огурцами и вишневый компот. Тетя кормила молочной смесью маленькую Юльку. Я терпеть не могу Юльку. Она диатезная. От этого все время орет. От ее криков мучались все жители дома, особенно по ночам. Недовольства опять же не высказывали, жалели. Недавно моего дядю по несправедливой случайности посадили в тюрьму. По этой причине молоко у тети пропало, а Юлке не подходила ни одна молочная смесь.

Меня поставили в угол. Тоже по самой несправедливой случайности. А всего-то решила «подкрасить» шашлыки, которые от обилия уксуса стали бело-серые. Залезла на стол. Заглянула в кастрюлю, а там эти куски некрасивые лежат. Вот, думаю, бабушкины приправы должны все исправить. Взяла баночку с маленькой ложкой и чуть-чуть насыпала чего-то черного. Потом другую баночку — еще немного добавила чего-то зеленого. Потом я нашла красный порошок. Сыпанула побольше. На месте разукрашивания бледного мяса меня поймал папа. Он выбил у меня из рук баночку с приправой. Та фейерверком взлетела вверх и попала папе в глаза. В итоге ревели оба. Папа от жгучего перца, я от обиды.

Я любила стоять в углу. Там было очень удобно. С одной стороны меня подпирал комод, с другой холодильник. А если развернуться и наблюдать, то вообще красота. Все: и кухня, и гостиная — как на ладони. Это как в кино сходить, даже лучше. Вот у двери на вешалке мамин черный длинный плащ висит, а под ним еще чья-то куртка. Если зажмурить один глаз, то вся эта конструкция напоминала толстого попа в рясе. Вот кошка путается в ногах у мамы. Нарочно добивается, чтобы мама запнулась и выронила из рук что-нибудь вкусное. На столе в банке оса застряла в меду и уже перестала жужжать от усталости. Вот Юлька заснула, и тетя понесла ее в кроватку. Как можно спать, когда такие запахи вокруг?!

Но домашние были какие-то напряженно молчаливые. И это настораживало и нервировало. Неужели все так переживают из-за щепотки перца?!

— У нас все готово! — в открытое окошко заглянул дед. — Просим в беседку.

Потом заглянул папа. В руках у него был фотоаппарат «Зенит». Он прищурил левый глаз и крикнул: «Девушки, улыбочку!» Бабушка всполошилась, словно курица, которую согнали с насеста. Замахала полотенцем. А мама заулыбалась и позировала.

Мама с бабушкой взяли приборы и тарелки и вышли, следом за ними и тетя с салфетками и графином вишневой наливки. Она выключила свет и закрыла дверь. Про меня все забыли. Живот заурчал. От голода и обиды по лицу потекли теплые слезы. Я села на корточки и закрыла лицо руками.

Мы и сейчас сидим с дедом под вишнями. На той же самой скамейке, хотя уже прошло больше двадцати лет. Старые вишни уже не такие высокие. Надо срубить, да рука не поднимается. И вот в один из таких же точно душных июней я вспоминаю деду, как они, взрослые негодяи, забыли меня в углу и не накормили бедного ребенка шашлыком. Дед покачал головой. Начал убеждать меня в обратном. Мол, достали, накормили. И, мало того, есть неопровержимые доказательства! Он принес альбом и ткнул пальцем в черно-белую фотографию на матовой бумаге. Это кто?!

Там стояла девочка. С опухшими от слез глазами. В беседке. С шампуром в руках. На старой альбомной странице под фото стояла подпись: «Июнь. 1986 год».

А я не запомнила.

